

Юлиан Семёнов

НЕЖНОСТЬ (1928)

«Господи, зачем же она так несется?! Бульжник-то старый, положен плохо, нога подвернется», – испуганно думал Исаев, глядя на Сашеньку, которая бежала вдоль перрона Казанского вокзала. Он даже зажмурился, потому что представил себе, как она упадет, и это будет ужасно – нет ничего более оскорбительного, когда на улице падает красивая молодая женщина.

«Не надо бы ей так бежать, – снова подумал он, – все равно ведь я дома».

Так же испуганно бежала Роза по темной кантонской улице, а за нею гнались двое, а потом один из них бросил бутылку и угодил ей в шею, и она упала на асфальт, и Максим Максимович почувствовал, как у нее захладела кожа на ладонях, – сначала кожа холодеет, потом немеет, а после, когда прихлынет кровь, рукам делается нестерпимо жарко.

– Сейчас! – крикнул Исаев Сашеньке. – погоди ты, стой! Не беги так! Ты стой, Сашенька!

– Вам нужна девка. Хорошая девка. Вы каких любите? Худых или рубенсовских?

– Я в психотерапию не играю, доктор. Я не болен. Я все время хочу спать, но когда ложусь – сна не получается, устал. И девки не помогают.

– Убеждены?

– Убежден.

– Значит, не нашли пару. Вас что-то в них раздражало. Девка обязана быть гармоничной – тогда вы устанете: от гармонии устают больше всего... Понаблюдайте за собой в музее: после третьего зала вам нестерпимо хочется спать, но чтобы не казаться нуворишем, вы пялите глаза на картины и подолгу читаете имена художников на металлических дощечках, чтобы хоть как-то спастись от зевоты. Разве нет?

– Я живопись люблю...

– Это как же вас понять? Вы – исключение? Вы не зеваете в музее?

– Не зеваю.

– Сие аномально. Все люди хотят спать в музеях. А вы еще говорите: «не псих». Все – в той или иной мере – клинические психи, только некоторые умеют притворяться.

«Надо продержаться еще неделю, – подумал Исаев, – через неделю я сяду на пароход и там сразу же усну, и кончится этот ужас. Только бы он дал мне сейчас что-нибудь по сильнее – иначе я сорвусь, ей-богу, сорвусь...»

– В английской аптеке мне сказали, что появился «препарат сна» – гарантия от бессонницы.

– Вы еще верите гарантиям? – доктор хохотнул и, приподняв веко левого глаза, перегарно задыхал в лицо Исаеву. – Вниз глядите. На меня. Влево. А теперь направо.

...В Москве и пахнет-то иначе, липами пахнет цветущими, – понял Исаев. – Осенью тоже пахнет цветущими липами, если только выйти ранним утром из перелеска, когда поле кажется парчовым пологом, закрывающим небо, и рисовать это надо жестко и однозначно, никак не украшая и не стараясь сделать красивой... Но отчего же на вокзале пахнет липами? Наверное, потому что здесь пахнет цветущими липами, что дождь недавно прошел, и перрон

черный, скользкий, набухший весенней влагой, – на таком перроне не стыдно упасть; по нему покатишься, как в детстве по декабрьской ледяной горке, и не будет в этом никакой беззащитности, и унижения никакого не будет, только все же лучше б Сашеньке не падать, и она, видно, поняла это: вон, смотрит на меня; идет все медленнее, и паровоз отфыркивается все медленней, и можно уж прыгать на перрон, хотя нет, не надо торопиться, вернее, торопиться-то надо, но только я слишком хорошо помню рассказ Куприна про инженера, который так торопился к своей семье, что попал под медленные колеса поезда в тот момент, когда остались две последние минуты – самые длинные и ненужные во всей дороге... Ох как же я люблю ее, господи! Только я люблю ее такой, какой она была тогда на пирсе – испуганной, моей, до последней капельки моей, и все в ней было открыто и принадлежало мне; и было понятно мне загодя – когда она опечалится, а когда рассмеется, а теперь прошло пять лет, и она все такая же, а может, совсем другая, потому что я другой, и как же нам будет вместе? Говорят, что расставания – проверка любви. Глупость. Какая, к черту, проверка любви! Это ж не контрразведка – это любовь. Здесь все определяет вера. Если хоть раз попробовать проверить любовь так, как мы научились перепроверять преданность, то случится предательство более страшное, чем случайная ночь с кем-то у нее или шальная баба у меня.

Ну, стой, поезд! Успокойся! Отдышись! Мы ж приехали. Стой.

Доктор разжал пальцы, и только теперь Исаев ощутил боль в веке.

– Препарат сна, – сказал доктор, закуривая длинную «гавану», – делает в Кантоне Израиль Михайлович Рудник. А поскольку наша с вами государственность – и бывшая и нынешняя – во всем цивилизованном мире вызывает хроническое недоверие, – Рудник свое изобретение упаковывает в английские коробочки: их ему здесь, в Шанхае, напечатали, – и берут нарасхват, верят. А самое изумительное, то, что люди Иоффе из генконсульства закупили большую партию «английского» препарата – в Кремле, видимо, тоже кое-кому не спится.

«Здесь бы я заснул, – подумал Исаев. – В кабинете врача, если только у тебя нет рака, ощущаешь спокойствие бессмертия. Иллюзии – самые надежные гаранты человеческого благополучия. Поэтому-то и кинематограф называли иллюзионом. Делай себе фильмы про счастье – так нет же, все про горе снимают, все про страдания».

– Мед любите? – спросил доктор, усаживаясь за стол. – Липовый, белый?

– Дурак не любит, – ответил Исаев. – Только я прагматик, доктор, я не верю в лечение медом, травой и прогулками. Я верю в пилюли.

– Милостивый государь, настоящий врачеватель подобен портовой шлюхе – поскольку вы мне платите деньги, я готов выполнить любое ваше пожелание. Хотите пилюли? Пожалуйста. Устроим в два мига. Но если спать хотите – мед, прогулки и травы.

– Валериановый корень, пустырник и немного шалфея?

Доктор посмотрел на Исаева поверх очков. Когда он смотрел через очки, глаза его казались очень большими, словно у беременной женщины, и такими же настороженными.

«Медицина будет бессильной до тех пор, пока человечество не изживет в себе ложь, – подумал Исаев. – Я ведь лгу ему. Точнее говоря, я не открываю ему правды. Если бы я сказал ему, что не могу спать, потому что жду возвращения домой, и что там, среди своих, мне не нужно будет никаких лекарств, и что бессонница началась месяц назад, из-за того, что Вальтер сказал о предстоящем отъезде (нельзя говорить человеку о счастье, если не можешь его дать сразу), тогда бы он знал, в чем причина бессонницы».

– Здравствуй, нежная моя...

– Господи, Максимушка, Максим Максимыч... Максим...

– Здравствуй, Сашенька. Ну, как ты?

«Что же я говорю-то?! Стертые слова какие, стертые, словно гривенники! Разве такие слова я говорил ей все эти годы, когда она являлась мне? Отчего мы так стыдимся выражать самих себя? Неужели человек искренен лишь когда говорит себе одному, тайно и беззвучно?!»

– Как странно спросил: «как ты?». Почему ты меня спросил так, Максим?

– Мне всегда казалось, что глаза у тебя серые, а сейчас я вижу, какие они синие.

– Ты отчего не целуешь меня?

Какие же мягкие и нежные у нее губы... Наверное, только у тех женщин, которые любят, бывают такие губы – безвольные, старающиеся молчать, но они не могут молчать, и говорить они тоже не могут, поэтому они подрагивают все время, и тебе страшно, что они скажут то, что ты так боялся услышать, поэтому ты целуй их, Максим, целуй эти сухие, мягкие губы, и не смотри ты ей в лицо, и не старайся понять, отчего она закрывает глаза и почему слезы у нее на щеках, – может, горе с ними уходит? А кто виноват в ее горе? Ты? Ты. Кто же еще? Ты ведь оставил ее на эти долгие пять лет, ты ведь не мог найти ее, как ни искал, ты ведь ни разу не написал ей ни слова – кто ж еще виноват в ее горе? «Ее» горе... Наше горе и еще точнее – мое горе. Потому что я могу простить, но забыть я никогда не смогу...

– Сифилисом не болели? – спросил доктор. – Тогда ртутью головушку успокоим... В сыпняке ведь многие бытовичок подхватили и не знают об этом. Давеча вскрытие было занятное, полковника Розенкранца потрошили... Думали, удар – пил много, а в головушке-то у него гумма, третья степень, а дочери на выданье. Вот вам задачка на сообразительность: где граница между нравственностью и долгом? Мы обязаны поступить безнравственно, вызвать девиц для обследования. Китайцы и англичане настаивают: Шанхай, говорят, самый чистый порт в Китае. Розенкранц, перед тем как почить в бозе, три недели глаз не смыкал, уснуть не мог – криком исходил. Думал, что синдром похмелья у него, и давление поднялось. Ан, нет... Так что я не зря про люэсочек.

– Сколько я вам обязан, доктор?

– Двадцать пять долларов. Детишкам, знаете ли, на молочишко, да и овес ноне подорожал. Год назад я брал пятнадцать, а сейчас собираю зелененькие – в Австралию подаюся, там и желтого цвета поменьше, и наших зверенышей почти никого, да и врачей негусто... Значит, пилюльки какие будем пользоваться? Англо-кантонские? Израилево-Михайловские? Или медок с водой на ночь и прогулка до пота между лопаточками?

– Пилюли давайте.

...Цок-цок, цок-цок, цок-цок... Перестук копыт, словно музыка. Чубчик у извозчика подвитой, ржаной цветом.

– Сейчас он петь станет, – шепнула Сашенька, – когда я сюда ехала, – он так пел прелестно.

– «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке»?

– Нет. «Зачем сидишь до полуночи у растворенного окна...»

– «Зачем сидишь, зачем тоскуешь, кого, красавица, ты ждешь?» Ни одного прохожего на улицах.

– Что ты, Максимушка, вон люди! Видишь, сколько их?!

– Никого я не вижу, и не слышу я ничего...

– А цок-цок, цок-цок слышишь?

– Дай руку мне твою. Нет, ладонь дай. Она у тебя еще мягче стала... Я ладони очень люблю твои. Я, знаешь, ночью просыпался и чувствовал твои ладони на спине, и глаза боялся открыть, хотя знал, что нет тебя рядом... Это страшно было – то я папу видел рядом, живого, веселого, а то вдруг ты меня обнимала, и я чувствовал, какие у тебя линии на ладонях и какие

пальцы у тебя – нежные, длинные, с мягкими подушечками, сухие и горячие... А ты меня во сне чувствовала?

Цок-цок, цок-цок...

– А еще, знаешь, что он пел, Максимушка? Он еще пел «Летят утки, летят утки и два гуся...».

– Ты почему не отвечаешь мне, Сашенька?

– Я и не знаю, что ответить, милый ты мой...

– Сами-то из Петербурга? Или столичная фитюля? – поинтересовался доктор Петров, пряча деньги в зеленый потрепанный бумажник.

– Прибалт.

– Латыш?

– Почти...

– А по-русски сугубо чисто изъясняетесь.

– Кровь мешаная.

– Счастливый человек. Хоть какая-никакая, а родина. Что в Ревель не подаетесь?

– Климат не подходит, – ответил Исаев, пряча в карман рецепт.

– Дождит?

– Да. Промозгло, и погода на дню пять раз меняется.

– Пусть бы в Питере погода сто раз на дню менялась, – вздохнул доктор, – помани мизинцем, бросился б, закрыв глаза бросился бы.

– Сейчас начали пускать.

– Я изверился. Сначала «режьте буржуя», потом «учитесь у буржуя», то подразверстка, то «обогащайтесь»... Я детей вообще-то боюсь, милостивый мой государь, – шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? Вот когда они законы в бронзе отольют, когда научатся гарантии выполнять, когда европейцами сделаются... А возможно это лишь в третьем колене: пока-то кухаркин сын университет кончит... Кухаркин внук править станет державой – в это верю: эмоций поубавится, прогресс отдрессирует. Мой тесть-покойник, знаете ли, британец по паспорту, хотя россиянин – нос картошкой и блины на масляную руками трескал, – так ведь чуть не из пушек палили, когда в Питер приезжал. Любим мы чужеземца, почтительны к иностранцу... В Австралии паспорт, гляди, получу, фамилию Петров сменю на Педерсон – тогда вернусь, на белом коне въеду. «Прими, подай, пшел вон» – простят: иностранцу у нас все прощают...

На улице Исаев ощутил тошноту, и перед глазами встали два больших зеленых круга: они были радужные, зыбкие, словно круги луны во время рождественских морозов в безлесной России. «Такая была луна, когда мы ехали с отцом из Орска в Оренбург, – вспомнил Исаев, – он держал меня на коленях и думал, что я спал, но продолжал мурлыкать колыбельную: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, птицы уснули в саду, рыбки уснули в пруду, спи...» Потом он мурлыкал мелодию, потому что плохо запоминал стихи, и снова начинал шептать про уснувших в саду птиц... Если бы он был жив, я, наверное, смог бы сейчас уснуть. Я бы заставил себя услышать его голос, и я бы знал, что есть на свете человек, который меня ждет. Я бы так не сходил с ума – от ожидания, веры, неверия, надежды и безысходности».

Аптекарь, повертев рецепт доктора Петрова, вздохнул:

– Отдаю вам последнюю упаковку, сэр. – Старый китаец говорил на оксфордском английском, и он показался Максиму Максимовичу каким-то зыбким, словно бы радужным, вроде тех кругов, что стояли в глазах, нереальным и смешным. – Восхитительный препарат, некий сплав тибетской медицины, рожденной пониманием великой тайны трав, и современной европейской фармакологии.

– Где вы так выучили английский?

– Я тридцать лет работал слугой в доме доктора Вудса.
– А сколько вам сейчас?
– Я еще сравнительно молод, – улыбнулся аптекарь, – мне всего восемьдесят три, для китаецца – это возраст «Начинающейся Мудрости».

– А сколько бы вы дали мне? – спросил Исаев, бросив в рот пилюлю из упаковки препарата сна.

– Мне это трудно сделать, – ответил аптекарь. – Все европейцы кажутся мне удивительно похожими друг на друга... Просто-таки одно лицо... Лет сорок пять?

– Спасибо, – ответил Исаев и проглотил еще одну пилюлю. – Вы ошиблись на семнадцать лет.

– Неужели вам шестьдесят три?

– Мне двадцать восемь.

– Твое окно на пятом этаже, с синими занавесками?

– Ты как это определил, Максимушка?

– Определил вот...

– Тебе писал кто об этом?

– Никто не писал. Но ведь такие занавески ты во Владивостоке сшила, когда я из Гнилого Угла переехал на Полтавскую, – синие в белый горошек и со сборочками по бокам.

– «Со сборочками». С оборочками... Я никогда от тебя раньше этого слова не слыхала, и сама стыдилась вслух произносить при тебе.

– Почему, Сашенька?

– Не знаю. Мы ведь каждый друг друга себе придумываем, чего-то в этом своем придуманном знаем, чего-то не знаем, и постепенно того, изначального, которого полюбили, начинаем забывать и возвращаемся в себя, на круги своя. Наверное, мужчину, которого любишь, надо всегда немножко бояться: как бы он не ушел, как бы в другую не влюбился, а женщины глупые, они сразу замуровать несвободю его хотят, а потом устают от спокойствия, словно победители в цирковых поединках.

– Лестница какая темная.

– Мальчишки лампочки вывинчивают.

– Ты почему так тихо говоришь?

– Боюсь тебя.

– Пива, пожалуйста. Белого. Холодного. Самого холодного.

Владелец этого маленького немецкого бара приносил пиво Исаеву сам – он всегда садился к нему за столик, и они говорили о Германии: Карл Ниче был родом из Мюнхена, а там Максим Максимович прожил с отцом пять лет.

– В такую жару лучше пить чуть подогретое пиво, майн либер Макс. Вы можете простудить горло, если в такую жару станете пить ледяное пиво. Что вы такой синий? Хвораете?

– Здоров, как бык, Карл. Немного устал.

Два мальчика сели возле лестницы, которая вела в полуподвал, и крикнули – словно чтецы эстрадных куплетов – на два голоса:

– Кельнер, пива!

– Русские, – сказал Карл шепотом, – сейчас потребуют водки и черных сухарей... Даже худенькие, даже молодые и воспитанные русские – все равно свиньи. Сейчас я вернусь, если позволите...

Он поднялся из-за стола и крикнул в подвал, опершись на перила лестницы:

– Два пива, поживей!

«Интересно, эти мальчики меня подхватили в аптеке или они ждали, когда я выйду от доктора? – подумал Исаев. – Наверное, они все-таки меня ждали возле дома врача. Но я не видел, как они вели меня. Плохо дело-то, а? Совсем плохо...»

Она думает, что я сплю, – понял Исаев. – Господи, неужели я и ее обманываю этим моим ровным дыханием и тем, как я опустил руку с кровати и вытянул шею... Я вижу себя со стороны – даже когда сплю. Вот ужас-то. И если я сейчас скажу ей, что я чувствую, как она сидит рядом со мной и смотрит на мое лицо, и как у нее пульсирует синяя жилка возле ключицы, и как она держит левую руку, прикрывая грудь, и сколько боли в ее глазах, я стану последним негодяем, потому что она может решить, что я смотрел на нее сквозь полуприкрытые веки. А может, я смотрю на нее сквозь полуприкрытые веки? Нет. Глаза мои закрыты, просто я вижу ее, потому что я приучен чувствовать все то, что рядом. Я думал, что это было со мной только там, за кордоном, я думал, что дома это уйдет, и я снова стану обычным человеком, как все, и не будет этой постоянной напряженности внутри, но, видимо, это невозможно, и я навсегда останусь таким, который верит только себе и еще двум связникам – Розе и Вальтеру, и больше никому. Мне надо обмануть ее, надо как-то неудобно повернуться и открыть глаза, но не сразу – чтобы не испугать ее, а постепенно: сначала потянуться, потом что-то забормотать, а уже после – рывком – сесть на кровати и тогда лишь открыть глаза. Она за эти мгновения успеет натянуть на себя простыню, она обязательно натянет простыню и вытрет глаза – она же плачет.

Последнее время Исаев жил в отеле на набережной, и все окна его номера выходили на порт, и он подолгу сидел на подоконнике, разглядывая суда из России. Сначала он приходил в порт и стоял возле пирса, где швартовались советские корабли. Но после того как он заметил рядом с собой двух мальчиков из «Союза освобождения», которые начинали разглядывать моряков тогда, когда Исаев оборачивался к ним, он в порт ходить перестал. «Береженого кое-кто бережет», – говорил ему охотник Тимоха, опасаясь все помянуть имя господне, ибо красные в этом деле – «чугун чугунами, да еще смех подымают».

Впрочем, несмотря на то что мальчишки из белой контрразведки стали последнее время за ним топтать, Исаев несколько раз передавал Дзержинскому, что шанхайская эмиграция, не говоря уже о дайренской, перестала быть реальной силой, а игрушки в заговоры, проверки и долгосрочные планирования были лишь средством хоть где-либо достать денег для прокормления семей. Кто пооборотистей – ушел в торговлю, кто побогаче – уехал в Штаты; в политике, в «движении освобождения», остались люди несчастные, обреченные, недалекие, надеявшиеся на чудо: взрыв изнутри, война на Западе, интервенция с Востока. Эмигранты – из политиков – собирали по крохам деньги, отправляли эмиссаров то в Токио, то в Париж, но отовсюду их гнали: Москва предлагала концессии, а это реальный, отнюдь не химерический выигрыш. На эмиграцию теперь смотрели как на надоевших бедных родственников: и взашей не прогонишь, но и денег давать нельзя – избалуются вконец.

Однако Дзержинский крепко Исаева разнес: смотреть надо дальше, отвечал он, и шире. Ситуация сейчас действительно такова, что эмиграция сугубо невыгодна для правительств Европы и разобщена внутренне. Однако, если в мире появится организованная, целенаправленная экстремистская сила, эмиграция найдет в ее лице самую широкую поддержку. Контакты Савинкова позволяют назвать такой силой фашистов Муссолини и следующих за ним национальных социалистов Гитлера.

- Свет включить, Максимушка?
- Так ведь светло.
- Да? А мне кажется – ночь сейчас.
- Иди ко мне, Сашенька...

- Чаю выпьешь?
- Ты ко мне иди...
- Я воды на керосинке нагрела. Хочешь помыться с дороги?
- Я хочу, чтобы ты подошла ко мне, Сашенька.

«Прямо разрывает сердце – как она смотрит на меня. И руки на груди сложила, будто молится. Девочка, любовь моя, как же мне все эти годы было страшно за тебя... Ну, не смотри ты на меня так, не надо. Я ведь молчу. И никогда ничего не спрошу. И ты не спрашивай меня – не надо нам унижать друг друга неправдой, не надо».

После смерти Дзержинского Исаеву показалось, что о нем забыли. Он послал на Лубянку восемь шифрованных писем с просьбой разрешить ему приехать в Москву: сдавали нервы. Ответа не было. И лишь месяц назад Вальтер передал ему приказ поселиться в этом отеле и ждать получения новых документов для отъезда из Китая, и он весь этот месяц не спит – только ходит по городу, ходит до головокружения и тошноты; присядет на скамейку в парке, закроет глаза, обвалится в тяжелое, десятиминутное забытие, и – словно бы кто ударяет в темечко – «Не смей спать! Открой глаза! Осталось потерпеть неделю. Не спи!»

Исаев сидел на подоконнике, смотрел, как в город приходят сумерки, и ждал, когда же ему захочется спать, но чем ближе был день отъезда, тем страшнее ему было возвращаться в номер, потому что пять лет, проведенные в Шанхае, Кантоне и Токио, сейчас мстили ему внутренним холодом, постоянным чувством озноба и страхом: так у него было в детстве, когда они с отцом собирались в Гренобль и он ждал этой поездки весь год, как праздника, и все время думал: «А вдруг сорвется?» Он постоянно ждал, когда же ему захочется лечь на кровать, вытянуться с хрустом, закинуть руки за голову, увидеть Сашенькино лицо – близко-близко, и уснуть после, и проснуться завтра, когда до отъезда останется всего пять дней.

- Боже, как же я люблю тебя, Максим, я, наверное, только сейчас поняла, как я тебя люблю...
- Почему только сейчас?
- Ждут – воображаемого, любят – свое.
- Не наоборот?
- Может, и наоборот. Нам сейчас говорить не надо, любимый. Мы с тобой вздор какой-то говорим друг другу, будто в мурашки играем. Дай я тебе галстук развяжу. Нагнись.
- «А раньше-то она галстук развязывать не умела», – ожгло Исаева, и он взял ее ледяные пальцы в свои руки и сжал их.

В дверь здесь стучали мягко и осторожно, но – внезапно, потому что коридор был застлан толстым ковром, который скрадывал шаги, и этот мягкий стук в дверь показался грохотом, и Максим Максимович, переложив пистолет в карман пиджака, сказал:

- Да, пожалуйста, войдите.

Вальтер был в белом чесучовом костюме, заляпанном фиолетовыми винными пятнами.

– Вот, – сказал он, протягивая конверт, – здесь все для тебя. – Его грохочущий баварский был сегодня каким-то особенно резким.

В конверте лежал немецкий паспорт на имя Макса Отто Штирлица и билет первого класса в Сидней.

Вальтер закрыл глаза и начал говорить – он легко запоминал шифровки после того, как записывал их дважды на листочке бумаги:

– «Товарищ Владимиров. Я понимаю всю меру ваших трудностей, но ситуация сейчас такова, что мы не вправе откладывать на завтра то, что можем сделать сегодня. Документация, которую мы передаем на «Штирлица», абсолютно надежна и дает вам возможность по прошествии двух-трех лет внедриться в ряды национальных социалистов

Гитлера, опубликовавшего только что свою программу действия в «Майн кампф». В Гонконге, в отеле «Лондон» вас найдут в номере 96, забронированном на имя Штирлица, наши люди, которые передадут фотографии, семейные альбомы и письма к вам Штирлица-старшего. Работа по легендировке займет десять дней. Менжинский».

– Знаешь что, – сказал Исаев, – ты сейчас уходи. Ты уходи, Вальтер, потому что я очень хочу спать. Я вдруг так захотел спать...

Вальтер увидел коробочку препарата сна, усмехнулся.

– Психотерапия – великая вещь, – заметил он. – Рудник делает этот препарат из аспирина и валерьянки – полная туфта.

– Наверное, – согласился Исаев. – Только я захотел спать не из-за Рудника и его препарата. Все вернулось на круги своя, и я даже рад этому, потому что человек, освобожденный после каторги, страшится свободы.

– Ты должен уснуть, Максим.

– Я не усну.

– Пожалуйста, усни, любимый.

– Я не смогу, мне и не хочется спать вовсе.

– Я очень прошу тебя, усни... Когда ты проснешься, будет ночь, и снова пройдут эти пять лет, и будет так, словно мы и не расставались с тобой.

– Чем в зимовье у Тимохи пахло?

– Медом и паклей.

– А еще чем?

– Не помню.

– Снегом. Мартовским снегом.

– Пожалуйста, ну, пожалуйста, усни, Максимушка.

– Мне очень не хочется обманывать тебя.

– Повернись на бок, я стану гладить тебя, и ты уснешь.

– Ты всегда меня любила?

– Да.

– Всегда-всегда?

– Да.

– И...

– Да. Да. Да. Спи.

– Почему ты так жестоко мне сказала сейчас?

– Потому что ты так спросил.

– Ничего не нужно спрашивать?

– Ничего. Спи, любимый мой, я тебя очень прошу, спи... Ведь все прошло, и ты дома...

Спи...

– Из Берлина легче вернуться домой, чем отсюда, – сказал Вальтер

– Да. Ты прав. Я все понимаю. Только ты иди сейчас. Я лягу и буду спать. Я сейчас, словно пес, который устал лаять на кость. И я не очень-то соображаю, что говорю. Я могу сейчас не то сказать, и ты обидишься. Ты иди, да? Иди...

Он вернулся домой в июне сорок шестого, через девятнадцать лет, семь месяцев и пять дней после этой встречи с Вальтером в Шанхае, на двенадцатом этаже отеля «Куин Мэри».